В. Р. Ростов

РУССКИЕ СПОРЫ С ЕВРОПОЙ  
В ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ  
(А. ГЕРЦЕН, Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ, В. ЕРОФЕЕВ)

Переход от Средневековья к Новому времени в России связан с началом её европеизации в петровскую эпоху. С тех пор взаимоотношения с Европой приобрели для русских особую важность, хотя «равнение» на Европу (западники) сопровождалось и критикой в её адрес (славянофилы), и споры о Европе оказывалисьв конечном счёте спорами о предпочтительных перспективах исторического развития самой России. Ведь, наблюдая процессы, совершающиеся в Европе, можно было хотя бы в общих чертах спрогнозировать, куда приведет европейский путь. Получила преломление данная проблема и в русской литературе, – может быть, главном проводнике европейского влияния в России. Доминирующее настроение отразил Ф. Достоевский в своей пушкинской речи, произнесенной 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей русской словесности в Москве: «Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли … <…> О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!» [1, с. 458]; в единении России и Европы на основе христианского универсализма видел писатель путь к преодолению противоречий и достижению «великой, общей гармонии» [1, с. 458], сколь бы фантастическими (оговаривался он) ни казались его слова. Но из Европы пришло не только Просвещение, а с ним и либеральные и революционные идеи – с ее стороны предпринимались масштабные попытки завоевания огромных российских территорий (Наполеон, Гитлер), продемонстрировавшие иной лик Европы – милитаристски-бесчеловечный, во главу угла ставящий наживу и стремление господства над другими. Спасая себя, Россия парадоксальным образом спасала и Европу от заведшейся в ней «чумы». Так что облик Европы в восприятии русского человека двоится, хотя ощущение Европы как «своей», «близкой», пусть и совершающей периодически чудовищные вещи, не исчезает.

На почве неутихающих споров между сторонниками разных точек зрения появилась и потребность в концептуально-обобщающем осмыслении феномена европейской цивилизации, основанном не столько на провозглашаемых в Европе официальных доктринах, сколько на реальности самой жизни, дабы уяснить: к чему пришла на самом деле Европа, какие факторы определяют ее существование. Из множества написанного выделяются наблюдения русских западников, так или иначе соединивших в своем лице писателей и мыслителей и избравших культуролого-цивилизационный подход к интересующему их феномену. Это А. Герцен (писатель, философ-материалист, дворянский революционер), Д. Мережковский (писатель, литературовед, религиозный философ), В. Ерофеев (писатель, литературовед, автор эссе культурологического характера). На первый взгляд, между ними нет ничего общего, тем более что один реалист, другой модернист, третий – постмодернист. Тем поразительнее отчетливо проступающая (при всех неизбежных расхождениях) единая концептуальная линия, связывающая их «письма», статьи и эссе, посвященные Европе, и это при том, что каждый основывается на своих личных впечатлениях, если и поминая высказывания другого, то лишь в том случае, когда они совпадают с его собственным мнением. Нельзя не отметить и тот факт, что и А. Герцен, и Д. Мережковский, и В. Ерофеев обратились к европейской тематике в ее концептуализированном выражении в переломные для России моменты истории, актуализировавшие вопрос о выборе дальнейшего пути.

В период реформ 1861 – 1863 гг. в России, вызвавших волну обсуждений о перспективах развития страны, Александр Герцен, находившийся к этому времени в эмиграции, в Лондоне, под влиянием споров с посетившим его И. Тургеневым пишет полемические «письма», составившие цикл «Концы и начала» (1862 – 1863). Цикл посвящен судьбе Запада и России и возможным перспективам будущего, которое их ждет, перекликается с содержанием глав «Былого и дум», созданных примерно в те же годы.

Русский европеец, аристократ, социалист, А. Герцен сознавал важность для России Европы как «идеала, упрека, благого примера» и даже шутил, что «если она не такая, ее надо выдумать» [2, с. 59]. В том, что Европа русскими отчасти выдумана, превращена в миф, он убедился, оказавшись за границей. Результаты буржуазных революций, вообще европейского социально-экономического прогресса А. Герцена далеко не устроили. Героический период в жизни Запада, убеждается он, позади, настала эпоха *линянья,* так что, вглядываясь в современное состояние Европы, чувствуешь неловкость. Вроде бы много хорошего делается: строятся железные дороги, работают телеграфы, создаются различные свободные учреждения... Но словно какой-то нравственный самум подул на западный мир, выдувая из него настоящую жизнь: «Все прежние идеалы потухли, *все до единого,* от распятия до фригийской шапки» [3, с. 123].А. Герцена поражает равнодушие людей «ко всем интересам, ко всем истинам» [3, с*.*93], а когда он затрагивает общие вопросы, на него смотрят «с какой-то жалостью, как на поврежденного в рассудке» [3, с*.* 93]. Наблюдаемые европейцы безучастны ко всему, кроме своего собственного материального благоустройства, и, осуществив желанное, они ни к чему, как правило, больше не стремятся, хотят просто «пожить в свое удовольствие» [3, с. 133], – разъясняет Александру Ивановичу знакомый. Духовные запросы у них отсутствуют, интересы (в восприятии А. Герцена) мелочные, примитивные, нередко вульгарные, хотя собой они вполне довольны и даже могут считать свой образ жизни наилучшим из возможных. Всё (театры, гулянья, книги, картины, трактиры, платья) качеством понизилось, но возросло числом. Это объясняется тем, что в жизни Запада восторжествовала ограниченная мещанская посредственность, накладывающая свой отпечаток на всё. Оказывается, иронизирует А. Герцен, «последнее слово цивилизации, основанной на безусловной самодержавной собственности» [2, с. 82], –*мещанство.* Вот идеал, к которому стремится тот, кто его еще не достиг. «Да, любезный друг, – обращается А. Герцен к воображаемому адресату (а, возможно, уговаривая и себя самого), – пора прийти к покойному и смиренному сознанию, что *мещанство* окончательная форма западной цивилизации, её совершеннолетие –étatadulte: *им* замыкается длинный ряд его сновидений, оканчивается эпопея роста, роман юности – всё, вносившее столько поэзии и бед в жизнь народов» [3, с. 128].

В мещанских государствах люди более сыты, но лица у них стертые, растет благосостояние граждан, но их *души убывают,* большее число желающих может посещать театры, но они наводят уныние тупым выражением лиц...

Европа славится не только научными достижениями, ставшими признанным майоратом всего человечества, но и своим искусством, хранилищницы которого в Европе пышнее, чем где-нибудь, отмечает А. Герцен. Однако, хотя искусство не брезгливо, есть «камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец; искусство, чтоб скрыть свою немоту, издевается над ним, делает карикатуры. Этот камень преткновения –*мещанство...* » [3, с. 80]. Верные карикатуры мещанства дали писатель Ч. Диккенс, художник У. Хогарт. Перед внекарикатурным же изображением мещанства искусство пасует. «Дело в том, что весь характер мещанства, c своим добром и злом, противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре...», – поясняет А. Герцен. <...>– Искусству не по себе в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина, а дом мещанина *должен быть* таков; искусство чует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки... Искусство, которое по преимуществу изящная соразмерность, не может выносить аршина, самодовольная в своей ограниченной посредственности жизнь запятнана в его глазах самым страшным пятном в мире –*вульгарностью»* [3, с. 81]. Писатель – на стороне искусства с его критериями прекрасного и безобразного. Но мещанству плевать на искусство, даже когда необходимого минимума жизненного комфорта оно достигло. Главное, это не какое-то маргинальное, несущественное явление – весь мир, как видит А. Герцен, идет в мещанство. Оно стало идеалом в Европе, мещанские нравы завезены из Европы в Американские Штаты, укоренились и там. А. Герцен, конечно, осознает, что это «в наших глазах» (глазах дворянской интеллигенции) мещанство «отстало», а «в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие» [3, с. 86], но неправомерно, убежден он, лишать этих людей подлинных, одухотворенных, всечеловеческих идеалов, подменяя их опримитивизированными суррогатами, так что жизнь общества начинает напоминать большой муравейник. Развитие европейско-американской цивилизации, по словам А. Герцена, *дало в сторону, не туда идет.*

О наблюдаемом А. Герцен пишет с горечью (ведь Европа, по словам Ф. Достоевского, была его второй родиной), а адекватность своих выводов подтверждает ссылками на книгу английского политэконома Дж.- Ст. Милля «Onliberty». Милль отмечал понижение личностей, вкуса, тона, пустоту интересов, появление стадных личностей, господство collective mediocrity (коллективной посредственности), свой уровень как норму навязывающей остальным. Желанию *лучшего* предпочитается сохранение *существующего,* развитие в большей степени имитируется бессмысленной псевдоактивностью.

Милль, комментирует А. Герцен, «с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты без инициативы, без понимания…» [3, с. 90]. Неужели народы, создав мещанские государства, достигли предела? – вместе с Миллем бьется он над тревожным вопросом. Сердцу Дон Кихота трудно с этим примириться. И невозможно не задуматься: стоит ли России во всем копировать Европу, если и ее ждет в таком случае мещанское будущее? Мещанской полосой она, вероятно, пройдет, предполагает А. Герцен; но что можно сделать, чтобы мещанство не стало окончательной формой русского общественного устройства? «Знаем ли мы, как выйти из мещанского государства в государство народное, или нет – всё же мы имеем право считать мещанское государство односторонним развитием, уродством» [2, с. 91], – заключает писатель. Пример соседей способен от кое-чего и предостеречь: «... что мы, как бараны, должны спотыкнуться на той же рытвине, упасть в тот же овраг и сесть потом вечным лавочником и продавать овощ другим баранам» [3, с. 142]. А. Герцен нацеливает на поиск самостоятельного пути России в будущее, предупреждая о том, что в противном случае её ждет. А кроме того, он не оставляет надежды, что и европейские народы, может быть, рано или поздно перейдут к другой жизни, сокрушив монополию мещанства, как сумели они когда-то сокрушить абсолютизм. Возможно, и с этой целью А. Герцен критикует Запад, судьба которого отнюдь не безразлична русскому человеку и в котором есть скрытые силы сопротивления стотысячеголовой гидре мещанства.

Пока же, убеждается Александр Иванович, «народы решительно не хотят ни французского братства (или смерть), ни международного права по PeaceSociety, ни почтенного убожества по Прудону…» [3, с. 108]. «Утопия демократической республики улетучилась так же, как утопия царства небесного на земле» [3, с. 123], – и в странах, именующих себя демократическими, имущественное неравенство людей велико, идеалом стало – достичь состояния элит. Остальное мещанство не интересует. «Неречистое мещанство совестится признаться, что ему спать хочется, и туда же бормочет в полусне неясные слова о прогрессе, свободе…» [3, с. 124], – иронизирует А. Герцен, – ведь прогресс, не направленный на самого человека (его духовно-нравственное самосовершенствование), дефективен, а свободы от доллара (франка, фунта стерлингов и т.д.) нет. С точки зрения русского демократа-идеалиста, – истинная справедливость на Западе после буржуазных революций не восторжествовала, «сонливая» мещанская жизнь неполноценна, качество свободы, демократии, гуманизма – «третьего сорта», и закрывать на это глаза не стоит.

А. Герцен оставался на революционных позициях, но склонялся к социалистической демократии, а не буржуазной, и отталкивал его все более пропитывающий Европу мещанско-торгашеский дух.

Нерешенность насущных проблем социально-исторического развития вызвала русскую революцию 1905 г. В обществе обострились споры о предпочтительном для России выборе общественно-политического устройства. Немало было поборников демократии западного типа, как и радикально настроенных социалистов; нашлись, впрочем, и защитники сложившейся за столетия государственной системы, связывавшие с ее разрушением распад России. Особую позицию в эти годы занимает Дмитрий Мережковский, выступивший со статьями «Страшный суд над русской интеллигенцией» (1905), «Грядущий Хам» (1906), «Св. София» (1906), «Земля во рту» (1910) и др. У него нет приятия ни революции, ни контрреволюции, ни западного образца, ибо писатель выступает как поборник «нового религиозного сознания».

Революцию Д. Мережковский оценивает как вечный бунт вечных рабов, движимых стихийными протестными настроениями, но не имеющих ясной цели преображения бытия, и прежде всего – самих себя. Однако он вовсе не на стороне Русской православной церкви, в лице епископаволынского Антония осудившей освободительное движение в России, провозгласившей анафему российскому образованному обществу, обвинявшемуся в разрыве с христианством и отравленности «культурой еретического Запада» [4, с. 77]. «Никто из нас, – пишет Д. Мережковский в статье «Страшный суд над русской интеллигенцией», – не согласится признать всю Европу, «страну святых чудес», по выражению Достоевского, «царством антихриста». Подобное признание показалось бы всем нам изуверством, чудовищным анахронизмом, пережитком XVII века, страшным ходом назад, небывалым в русской истории за последние два столетия. Тут мы все, от мала до велика, тверды непоколебимою твердостью нашего Камня, краеугольного Камня новой России – Петра» [4, с. 73]. Появление русской интеллигенции – результат европеизации России, и, если государственная бюрократия следовала только мертвой букве Петровых заветов, то интеллигенция всегда была носительницей их живого духа в «стремлении к свободе личности, последнему и драгоценнейшему дару западноевропейской культуры» [4, с. 78]. Перестать быть европейцами русским интеллигентам уже невозможно, и для них благо Отечества не менее важно, чем для епископа Антония, только видят они его в другом – справедливом переустройстве общества. А «мысль вернуть Россию к старине допетровской, оторвав от участия в западноевропейской культуре, есть нечто гораздо более разрушительное для существующего порядка, нежели самые крайние мысли наших революционеров: ведь иногда, пятясь назад от призрачной опасности, можно упасть в настоящую яму…» [4, с. 73]. Христос и Антихрист «не закреплены» однозначно ни за Россией, ни за Европой, доказывает Д. Мережковский и приводит слова Лютера: «“Всякий народ имеет своего диавола”» [4, с. 188].

Русское христианство, по Д. Мережковскому, – лишь *тоска по христианству,* а *только христианство*, остановленное в Лике Христа, сделалось «религией чистого и бездейственного созерцания» [4, с. 87]. Интеллигенция потому, в основном, и безрелигиозна, что «религия наша нежизненна» [4, с. 89], – считает писатель. Внежизненна же она потому, что ипостась Христа оторвана в ней от ипостасей Бога-Отца и Святого Духа, и понята не как освобождающая, а как жертвенно-смиряющая, «в идеале» монашеско-аскетическая, пренебрегающая земной жизнью. В этом разница в отношении к Христу в России и на Западе, констатирует Д. Мережковский, доказывающий: «Западная культура только потому и могла достигнуть этого предела, что Господь явился ей не в «рабьем зраке», а как Освободитель народов, Царь царей, грядущий в облаках со славою и силою многою» [4, с. 195]. Здесь проявлена воля к восхождению, тогда как в России в большей степени воля к нисхождению, самоумалению перед лицом Господа, пренебрежению материальным. «Они и мы не понимаем друг друга именно в этом, самом главном, – констатирует писатель.– Если они для нас, то и мы для них – “Каины”. Только они вежливее: не говорят нам этого в лицо» [4, с. 197]. Русские гордятся своей набожностью, Запад – успехами цивилизации, хотя и Запад, где произошел перевес материального над духовным, Д. Мережковский отнюдь не идеализирует.

Путь к сближению и преодолению односторонности в развитии народов Д. Мережковский видит в утверждении нового религиозного сознания –*религии Троицы*, которая восстановит в правах все три ипостаси Троицы, свяжет историческое христианство с апокалиптическим, Христа Пришедшего с Христом Грядущим. «Силу первобытной, варварской, языческой крепости, ныне соединенную с европейской, хотя бы поверхностной, культурностью, – можно победить лишь последней силой последней религии –*религии Троицы,* религии всеобъемлющей, не только созерцательной, но и *действующей*, принимающей в себя всю настоящую и будущую человеческую культуру,все откровения и знания, соединяющей в себе“разум – волю – чувство”, как соединены в человеке его “дух – душа – плоть”. К этой силе, одной побеждающей, мы и должны стремиться» [4, с. 86], – вот к чему зовет Д. Мережковский: к грядущей Церкви Вселенской, направляющей людей к софийному преображению и единению в Церкви Духа.

Вот почему Д. Мережковский вступает в полемику не только с «охранителями», но и с революционерами, а также – с готовыми механически заимствовать европейские формы жизни [5], видимо, принимая их за образец, пишет статью «Грядущий Хам». К этому времени (1906) он вместе с З. Гиппиус уже находился за границей, во Франции, куда уехал после подавления московского восстания. Взгляды писателя на Европу, Россию, революцию,неохристианство уточняются. По статье «Грядущий Хам» чувствуется, что в Европе ему претит ее мещанский дух.

Название статьи навеяно работой Г. Спенсера «Грядущее рабство», хотя само увлечение Г. Спенсером у Д. Мережковского уже позади. В большей степени он апеллирует к циклу А. Герцена «Концы и начала», в чем-то с ним соглашаясь, неоднократно цитируя. Не может не признать Д. Мережковский правоту А. Герцена в оценке состояния буржуазной Европы, рассматриваемого в плане культурфилософском. У него впечатление, что в Европе цивилизация наступает на культуру, и наиболее характерная примета европейской жизни – её обмещанивание.

Приводится в статье и герценовское определение понятия «мещанство»: «Мещанство, – говорит Герцен, – это та самодержавная толпа *сплоченной посредственности*(conglomeratedmediocrity) Ст. Милля, которая всем владеет», образуя «массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты…» [4, с. 14].

Воспроизводя слова А. Герцена о мещанстве как окончательной форме западной цивилизации, Д. Мережковский напоминает, что большего приверженца Запада, чем А. Герцен, в России, может быть, и не было, и объясняет его разочарование убежденностью, что «последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества», а это предполагает отречение «от своей национальной обособленности» и вхождение «в кругвсечеловеческой жизни» [4, с. 13], тогда как в Европе Александр Иванович наблюдал нарастающее мельчание жизни, сопровождающееся исключением из нее общечеловеческих интересов, ее сведение «на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния» [4, с. 14]; «мещанская кристаллизация» расценивалась им как застой и тупик, лишающий человечество благородной перспективы развития. Но «рецепта», как победить мещанство, у русского идеалиста не было.

Во многом соглашаясь с предшественником, Д. Мережковский вместе с тем и обвиняет А. Герцена и его сторонников в распространении позитивизма («научного реализма»), в каковом видит главную причину обмещанивания Европы, а вслед за ней (пусть в меньшей степени) и России. Позитивизм расценивается автором «Грядущего Хама» как новая религия, стремящаяся «упразднить и заменить собою все бывшие религии» [4, с. 15] и утверждающая лишь «то, что есть», «несокрушимый здравый смысл» и социально-исторический прогресс с перспективой «золотого века» на Земле, а не Рая Небесного. Отношение Д. Мережковского к научно-философскому мировоззрению резко отрицательное. Отказ от теоцентризма во имя homoцентризма, замена – в качестве идеала – Царства Божиего царством человеческим (пусть свободным, справедливым, процветающим) и является, согласно Д. Мережковскому, обоснованием и поощрением серединности, посредственности. Мотивация писателя-символиста такова: «Отрекаясь от Бога, от Абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки, умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство» [4, с. 17].

Концы с концами у Д. Мережковского не вполне сходятся. Ни в какое мещанство не впал тот же А. Герцен, не впали ученые Д. Менделеев, В. Вернадский, Н. Бор… С другой стороны, мещанский образ жизни зачастую ведут люди верующие (правда, Д. Мережковский называет такую веру слепой, но факт остается фактом). Так что вопрос, усилил ли позитивизм обмещанивание и позитивизм ли его усилил, остается открытым. Ведь научное мировоззрение побуждает мыслить, а мещанство предпочитает обходиться так называемым «практическим умом», не предполагающим серьезных интеллектуальных усилий, выходящих за границы заботы о собственном материальном благополучии, в то время как общее благо его не интересует. Более того, мещанство нередко критикуют именно за безмыслие, зашоренность, умственную ограниченность при полном самодовольстве и удовлетворенности собой (вспомним А. Блока:«Ты будешь доволен собой и женой, / Своей конституцией куцей» [6, с. 93]). Д. Мережковский, однако, обращает внимание на важную вещь – уязвимость позитивистской модели человека, достаточно абстрактной и фактически (добавим от себя) отождествляющей человека с его сознанием (рацио), не принимая во внимание сферу бессознательного и физиологии (хотя именно они нередко выступают «руководителем» человека в жизни). Впрочем, не принимает это во внимание и Дмитрий Сергеевич, руководствуясь собственным – метафизическим – мифом о человеке, заключающемся в представлении о его божественном происхождении, основанном не на каких-либо убедительных доказательствах, а исключительно на вере. Выводится прямая зависимость человеческой деградации от утраты веры в Бога и свое Божественное подобие. Можно согласиться с тем, что некий высокий ориентир в данном отношении религия и метафизика людям предлагали, что не отменяло ни войн, ни деспотизма, ни разделения на богатых и бедных, но все-таки в какой-то мере стимулировало обуздание темных начал в человеческой душе (если не всегда сознательно, то под страхом Божьей кары). Утрата веками внедрявшегося идеала не могла осуществиться безболезненно, без «издержек», ибо далеко не всегда «взамен» усваивался идеал титана духа (сформированный в эпоху Возрождения), разумного, просвещенного человека, брата всех людей. Ведь достижение идеала требовало огромных усилий, а непосредственная практика жизни особой потребности в этом не вызывала, высоким же уровнем сознания обладали немногие. Чаще идеалом становилось так называемое «мещанское счастье», остальное же не волновало.

Если даже социализм изменит общественный порядок, сделает его более справедливым, он не сможет победить мещанство (мещанскую психологию людей), настаивает Д. Мережковский: «Почему в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьёв от муравьиной участи?» [4, с. 22]. Ни Лассаль, ни Маркс, ни Энгельс этой опасности не предвидели – во что превратятся освобожденные люди. Реальных же рычагов, побуждающих их меняться к лучшему, у социалистов нет; если человеку обещана свобода, то ею может быть и свобода оставаться мещанином – нельзя же на свободу посягать. Движение в уже избранном (обезбоженном) направлении приведет, по мысли Д. Мережковского, к появлению вселенского полипняка и муравейника, который облепит весь земной шар. «… Достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство» [4, с. 19], то есть мещанство будущего, автор статьи именует хамством, ибо для хама нет ничего святого, ему плевать на все, кроме собственного процветания, которое застилает ему весь свет. «Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам» [4, с. 43], – утверждает Д. Мережковский.

Уже сегодня, констатирует писатель, окрепшая *религия мещанства*– как духовной основы западного общества – породила милитаризм и шовинизм, и в любой момент народы-хамы могут наброситься друг на друга [7], так как у них нет «никакой общей идеи, никакой общей святыни» [4, с. 29] – общечеловеческое благо забыто, ими движут только собственные национальные интересы, и исключительно материальные, и во всё более агрессивной форме. «Мещанство захватило в Европе общественность; от него спасаются отдельные личности в благородство высшей культуры» [4, с. 32]. Называются имена «великих отшельников», отшатнувшихся от государственного мещанства: Гёте, Ницше, Ибсен, Флобер, и «эти бездонные колодцы человеческого духа свидетельствуют о том, что под выжженой землею еще хранятся живые воды» [4, с. 30]; но по-настоящему вырваться наружу и оросить плоские равнины мещанства без какого-то дополнительного толчка им не удается. «И тут,– пишет Д. Мережковский, – опять возникает в начале ХХ века вопрос, поставленный в середине ХIХ: мещанство, не побежденное Европою, победит ли Россия?» [4, с. 32], в которой усиливаются материализм и революционные настроения.

Автор статьи видит три основные силы, потенциально способные повлиять на преображение России в гуманизирующем её направлении: это интеллигенция, церковь, народ.

Общественные настроения, в основном, формирует русская интеллигенция, и тут Д. Мережковский снова цитирует А. Герцена:

«“В нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, *ничего мещанского*ˮ*.*

Ежели прибавить: не в нашей личной, а в нашей общественной жизни, – то эти слова Герцена, сказанные полвека назад, и поныне останутся верными.

Русская общественность – вся насквозь благородна, потому что жертвенна. Существо трагедии противоположно существу идиллии. Источник всякого мещанства – идиллическое благополучие, хотя бы и дурного вкуса, “сон золотой”, хотя бы и сусального китайского золота. Трагедия, подлинное железо гвоздей распинающих – источник всякого благородства, той алой крови, которая всех этой крови причащающихся делает “родом царственнымˮ. Жизнь русской интеллигенции – сплошное неблагополучие, сплошная трагедия» [4, с. 33]. Писатель вспоминает «первых пророков и праотцов русской свободы» – декабристов, других поборников свободы и заключает: «Это все, что угодно, только не мещане» [4, с. 34].

Традиционные упреки русской интеллигенции: *а)* в «беспочвенничестве», *б)* в «безбожии», – Д. Мережковский истолковывает по-своему: *а)* интеллигентскую «беспочвенность» (отрыв от «почвы») он объясняет отвлеченным идеализмом и психологией «гражданина мира» (всечеловеческого, всемирного) в его максимальном выражении, при котором счастье всего человечества представляется важнее и личного, и национального;*б)* «безбожие» русской интеллигенции, по Д. Мережковскому, – в ее сознании, уме, *intellectus,* но не вчувстве, совести, воле, и силу русской интеллигенции писатель видит как раз в ее отзывчивом сердце и столь же отзывчивой совести; что же касается ума, он может становиться пленником определенной доктрины, порождая нетерпимость; отсюда – «при отношении истинно религиозном к свободе внешней, общественной» проистекает «неуважение к внутренней, личной свободе»   
[4, с. 41 – 42], в том числе – свободе исповедовать другие взгляды, придерживаться определенных верований. Обращаясь к молодым интеллигентам, Д. Мережковский взывает: «Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь – рабства и худшего из рабств – мещанства и худшего из всех мещанств –хамства, ибо воцарившейся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт – уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, – грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» [4, с. 43].

Вторая сила, на которую рассчитывает Д. Мережковский, – это церковь, но церковь преображенная. Даже в секуляризированном обществе, подчеркивает писатель, разрыв с религией, церковью был далеко не полным. Но (и в этом Д. Мережковскийвынужден согласиться с А. Герценом) христианство «обмелело», церковь утратила свою независимость, стала огосударствленной, не выполняет по-настоящему своего предназначения. И в Европе забывают о христианских заповедях, когда речь идет о таких «серьезных вещах», как война, «необходимость» каковой всегда найдут возможность оправдать, и в России православная церковь «в параличе» (вспоминает Д. Мережковский слова Ф. Достоевского) – впала в «мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной» [4, с. 43]. Кроме того, настаивая на превосходстве православия, она толкает Россию к изоляции от остального христианского мира (подаваемого как царство Антихриста), тянет ее назад, а не ковселенской соборности. «И вся новая Россия, поскольку приближалась ко вселенскому просвещению, уходила от церкви…» [4, с. 56].

Выход из создавшегося положения Д. Мережковский видит в религиозном возрождении, требующем коренного обновления церкви: *а*) обретения ею самостоятельности, служения Богу, а не Кесарю; *б*) осознания себя членом «вселенского тела Христова» – «уже не временной, поместной, грекороссийской, а вечной, вселенской Церкви Грядущего Господа, Церкви Св. Софии, Премудрости Божией, Церкви Троицы нераздельной и неслиянной, – царства не только Отца и Сына, но Отца, Сына и Духа Св.» [4, с. 44], поскольку, по Д. Мережковскому, «последний христианский идеал *Богочеловечества* достижим только через идеал*всечеловечества*, то есть идеал вселенского, все народы объединяющего просвещения, вселенской культуры» [4, с. 53]; *в)*отказа от векового бездейственного отношения к общественно-политической жизни мира, активного участия во всемирно-историческом процессе, ведущем от Первого пришествия Христа ко Второму, и исполнения хилиастического пророчества Апокалипсиса о тысячелетнем царстве праведников, утверждения всемирной теократии на Земле.

Вывод Д. Мережковского таков: «Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только *религиозная общественность* спасет Россию» [4, с. 44]. Он призывает к союзу преображенной церкви с русской интеллигенцией и третьей силой – русским народом, направленным ими по пути нового христианства – софийного, апокалиптического. Это, полагает писатель, позволит победить мещанство – все три его лица: казенно-государственное, казенно-церковное и идущее снизу – лицо хулиганства, босячества, черной сотни. Завершает статью Д. Мережковский словами:

«Со Христом – против рабства, мещанства и хамства.

Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос» [4, с. 45].

Негативные пророчества Д. Мережковского во многом оправдались, утопизм же основополагающего метафизического посыла предопределил неисполненность позитивной части его программы. Не состоялось софийное преображение человечества, претворившегося в Богочеловечество, не появились ни «Третья Россия», ни «Третья Европа» как результат осуществления Третьего Завета, не произошло и их соединение в Духе. Но сам пафос противостояния духовному мещанству с опорой на всё духовно благородное, что есть на Земле (включая христианство), сохраняет за статьей актуальность и побуждает к размышлениям с учетом реалий современности.

Д. Мережковского наиболее интересовала «больная Россия», в то время как О. Шпенглера, Х. Ортегу-и-Гассета, Э. Фромма – «больная Европа», мещанско-нацистский нарыв которой прорвался страшной мировой войной, хотя после войны как будто началось «выздоровление». Социализм же в СССР, как и предсказывал Д. Мережковский, «с проблемой человека» не справился, создав общественно-политическую систему тоталитарного типа, для развития личности неблагоприятную. В советскую эпоху мало кто догадывался, что вопросы антропологическо-цивилизационного характера вновь встанут во весь свой рост после распада СССР, обретения Россией статуса самостоятельного государства, начавшейся демократизации страны. Россию настраивали на «прорыв в цивилизацию». Когда мир распахнулся, она, в общем, это и сделала, так как первостепенно важным казался опыт экономически вырвавшихся вперед стран Европы и США.

Концептуальное культурологическое осмысление состояния современной европейской цивилизации предпринимает Виктор Ерофеев в книге «сказочных путешествий» «Пять рек жизни» (2000),эссе «Любовь к глупости» (2001), «Где начинается Европа?» (2002), «Ярко-розовое белье Средней Европы» (2001), «Европейский смысл жизни» (2008), отчасти романе «Акимуды» (2012).

Сын дипломата, детство В. Ерофеев провел в Париже, во взрослом возрасте, с появлением постсоветского открытого общества, объездил полмира, побывал на всех континентах, кроме Антарктиды, как писатель сотрудничал с европейскими и американскими издательствами, стал вице-президентом Европейского культурного клуба, в качестве литературоведа читал лекции о русской литературе в американских университетах и, собственно, привык жить на «два дома»: в России и за границей, духовно существуя в едином культурном пространстве. Путешествия по миру способствуют (при определенной настроенности) разгерметизации национальной души, наполнению её знаками универсального, – убедился писатель, – а также позволяют лучше понять реальность, избавляясь от иллюзий.

В «Акимудах» В. Ерофеев вспоминает, что в советские годы для российских диссидентствующих интеллектуалов именно Европа стала «возлюбленной»; вообще они считали, что «Запад лучше нас во всех отношениях», верили всему, «что говорили “по голосам”» [8, с. 212]. Поддерживали эти умонастроения сами европейцы, проникнутые духом европоцентризма, не сомневающиеся в том, что «жить в Европе все равно, что быть дворянином» [9, с. 68], и что это центр мира. Правда, к концу столетия на этот статус заявили свои претензии Соединенные Штаты Америки, так что европоцентризм укрупнился до западоцентризма.

Большинству россиян, за границей не бывавших, Европа рисовалась чем-то наподобие добротной гостиницы «с большими светлыми окнами, начищенными паркетами, цветами, люстрами и горой вкусной еды» [10, с. 118], – не без иронии пишет В. Ерофеев, замечая, что, в общем, такой «куцый образ Европы, как ни странно, был верной проекцией подлинного» [10, с. 118]. Но за рамками стереотипов оставалось постигаемое лишь при вживании в европейскую жизнь, а такая возможность у русских в конце ХХ – начале ХХІ вв. появилась.

Европа оказалась достаточно ухоженным и комфортным уголком земного шара (если не считать разбомбленного американцами Белграда), а от красот природы и накопленных здесь за века памятников культуры может закружиться голова, подтверждает писатель. «Почему у них всё есть: и климат, и статуи, и розы (какие там розы!), и демократия, а у нас? Что у нас?» [10, с. 246], – такова первая реакция русскоготуриста, созерцающего достопримечательности Италии. Свои дары есть не только у юга Европы, но и у севера, отмечает В. Ерофеев; впечатляет, например, Амстердам – самый свободный город Европы, куда «стало модно ездить за романтическим настроением. Туманы, каналы, антикварные магазины, гамаки колониального прошлого, музеи» [10, с. 359]. Запад Европы представлен у В. Ерофеева Францией, ее столица Париж воспринимается как круглая, теплая, близкая. «Путешествовать по Европе на машине – театральное удовольствие» [10, с. 80], – делится своими впечатлениями писатель, –столько всего интересного увидишь. Везде есть что-то привлекательное, жизнь достаточно благоустроенная, благополучная. Но ее наполнение В. Ерофеева разочаровывает и удручает. «Как грустна Германия! Как грустны ее бары, афиши, витражи, ночные кабаки, рынки цветов, туристические барахолки! Как меланхолична ее еда!» – восклицает Виктор Владимирович, задающийся вопросом: «Почему, глядя на все ее благополучие, так неотвратимо хочется разрыдаться? Как грустны ее велосипедисты! Ей нельзя ни помочь, ни помешать» [10, с. 71]. Родственные настроения вызывает не только Западная и Центральная, но и новая Европа: «Когда приезжаешь в новую Европу, вроде Польши, видишь, как грустна эта Европа.<…> Как только умерли Войтыла, Милош, Лем, всё, словно в театре, перевернулось» [10, с. 120, 146]. Печально было убедиться в том, что в Европе восторжествовал мещанско-потребительский идеал, повлекший за собой оскудение живой жизни и естественности в человеческих отношениях, отсутствие духовных запросов и высоких стремлений у большинства европейцев. Вдвойне печально было убедиться, что сами они считают свой образ жизни завидным, и это при ее внутренней пустоте, «горизонтальности», скуке. «Если проанализировать жизнь европейского человека, то в ней нет главного – смысла жизни» [10, с. 119], – так формулирует писатель наиболее ранившее его наблюдение в эссе «Европейский смысл жизни». Да, Амстердам – самый свободный город Европы, но как реализуется эта свобода? Почти исключительно в стремлении чем-то отличиться от других по внешнему виду или экстравагантностью поведения. Амстердамские интеллектуалы сами признают: «Амстердам превратился в болото, зацвел от ступора мысли» [10, с. 363]. О, если б один Амстердам! «Кельн сдался», «Дюссельдорф сдался», «Париж всегда готов сдаться» [9, с. 84], да вся Европа (за исключением евроскептиков) сдалась рынку, который «проник в подкорку и укоренился как мера вещей» [9, с. 56]. Вот почему В. Ерофееву, как некогда Ф. Достоевскому, дороги «священные камни» Европы (=ее культурное наследие), а современная Европа воспринимается писателем как конфедерация вполне довольных собойфилистёров. Для ее характеристики удачной представляется В. Ерофееву метафора *счастливый брак по расчету*, как можно понять, –*с рынком*. Правда, по инерции Европа продолжает провозглашать ценности демократического либерализма, которые когда-то предложила человечеству. Однако сегодня классические ценности Европы – «как латынь, которая сформировала современные языки, но сама стала мертвым языком для мертвых» [10, с. 119]: «отощали», обесценились, «существуют в основном в формальном измерении» [10, с. 119], а реальную жизнь людей определяют совсем другие ценности: деньги, обеспечивающие высокий материальный уровень жизни, и принцип удовольствия как результат возможности тратить накопленные деньги для самоублажения. Просвещенная демократия переродилась в рыночную; рынок же насаждает культ потребления, ибо произведенное должно продаваться.«Рынку нужны доверчивые массы, без саморефлексии, и он умело их создает. Он перерабатывает массы в индивидуальных потребителей, но ограничивает развитие индивидуальных способностей своими меркантильными нуждами» [11, с. 254]. И основные силы людей уходят на достижение соответствия вбиваемому в голову потребительскому стандарту. «Работа превращается в гонку за второсортным престижем» [10, с. 119], дабы иметь то, что имеют другие, соответствовать меняющейся моде. Необходимость же думать, стремиться к самопознанию, развитию, самоусовершенствованию в жизненную программу среднего европейца не заложена. Духовно-нравственные вопросы его не занимают, своей мещанской сущности и внутренней пустоты он не замечает, так как постоянно занят – и зарабатыванием денег, и обустройством внешних форм своей жизни, и организацией соответствующего его социальному статусу престижного отдыха. Всем этим, согласно В. Ерофееву, европеец заслоняется от самого себя. «Самопознание из экзистенциальной категории перешло в категорию практического знания о красоте, здоровье и времяпрепровождении» [10, с. 120], а зачем живет и всё это делает, человек не задумывается. Такая жизнь напоминает писателю стиль без содержания и «наполняется тем самым мещанским уютом и бытом, который изо всех сил стремится не показаться мещанским» [10, с. 120]. Но изнутри этой жизни ее ущербность, как правило, не замечается, потому что она «заполнена до предела борьбой за достойную, с точки зрения нормы, жизнь» [10, с. 120]. Норма же задается типом общества – общества потребления. «Разговор о смысле жизни, как и о любых метафизических категориях, вызывает раздражение и презрительную улыбку» [10, с. 119], – свидетельствует писатель. Разве не ясно, что смысл – обретение материальных благ в геометрически возрастающей прогрессии, а жизненный успех определяется суммой денег на банковском счете? – подразумевает описываемая реакция. Отсюда – и возобладавший конформизм европейцев как качество, содействующее успеху, и нормативность политкорректности, затемняющей сущность происходящего, и готовность принять концепцию «конца истории», поскольку желанного европейское филистёрство уже достигло и дальше двигаться не предполагает. И всё это – вкупе с идущей в Европе«сплошной идиотизацией» (П. Эстерхази) [12], осуществляемой СМИ и массовой культурой – детищами рынка. «Маскультуре можно, конечно, противопоставить презрение, но плевала она на презрение. Можно, конечно, попробовать бороться с ней запретами, но она будет вопить о свободе самовыражения и апеллировать к конституции» [11, с. 253]. Голоса европейских талантов и умов в этих условиях не слышны, заглушены гламуродискурсией, влияния на жизнь общества не оказывают. Даже литература во многом «сдалась» рынку, на пальцах можно пересчитать сопротивляющихся. А человек, «чья голова нафарширована бульварным чтивом, комиксами, детективами, розовыми романами, рекламными стихами, популярными песенками – это уже не человек, а зомби, если он не знает настоящей цены всем этим вещам» [11, с. 253]. В отсутствие надёжной духовной плотины всё «потекло фекальным потоком идиотизма» [11, с. 246], но адекватной реакции на это по большей части нет. «Качество жизни – не шикарный автомобиль, не джакузи…, а способность быть открытым по отношению к абсолютным ценностям» [11, с. 252 – 253], – настаивает писатель.

На расстоянии Европа представлялась более привлекательной, чем оказалась на самом деле, констатирует В. Ерофеев. Вообще казалось, что «где-то там лучше… А теперь всё видно» [8, с. 294]. И хотя сама себе Европа очень нравится и оглядывается на других с высокомерием, она уже не в состоянии, как раньше, очаровывать Россию, напротив, все больше ее разочаровывает.

К чему ведет слепое поклонение рынку и навязанным им ценностям, хорошо видно на примере новоевропейских стран, объявивших себя Средней Европой. Это название как раз очень им подходит, поскольку в скрытом виде содержит в себе оценку качества жизни в данных странах,– оно средненькое (в значении посредственное). Ничем выдающимся новые страны Европы, добившись своего, не блеснули, а некоторые из них переживают деградацию, напоминая краны-смесители холодной и горячей воды, из которых едва-едва капает. «Они думали в своей Средней Европе, что по уровню цивилизации они выше России, у них там стриптиз и хуй знает что, а оказалось – захолустье» [15, с. 119], глухая провинция духа. Противостояние тоталитаризму все-таки будило мысль, порождало благородные стремления, но выяснилось, что бороться за свободу и жить при свободе – не одно и то же. К тому же чаще это симулякр свободы –в Средней Европе воцарилось единомыслие и безмыслие. Вот и возникло провинциальное болото с редкими всплесками духовной энергии, на поверхность всплыли душевныйгерметизм, ограниченность, глупость.

Некоторые новоевропейцызаполняют «дискомфорт пустоты» архаикой национализма, и та же «шальная, отвязная Польша», восхищавшая в период «Солидарности», «превратилась в мелкую карикатуру на романы Оруэлла» [10, с. 146].

Неудивительно, что в наблюдениях В. Ерофеева так часто встречается эпитет «грустный» – всегда грустно разочаровываться в тех, о ком был лучшего мнения, обманываться в своих ожиданиях. А поскольку писатель перефразирует высказывание А. Пушкина «Боже, как грустна наша Россия!», прозвучавшее после знакомства с первыми главами «Мертвых душ» Н. Гоголя, становится понятно не озвученное вслух: у В. Ерофеева щемит сердце за происходящее с Европой –в ней стало слишком много «мертвых душ»[16]. Насколько бы богаче России Европа ни была, для русского интеллектуала этого недостаточно. Собакевич с Коробочкой тоже были не бедные.

«Мне здесь часто говорят: Европы не существует, все страны – разные! Мы разные! Мы разные!» – приводит В. Ерофеев доводы европейцев и – отвечает: «Ну, конечно! Все вы такие разные! Но при этом такие одинаковые!» [9, с. 73–74]. Роднит европейцев омассовление, мещанско-потребительский стандарт, переживаемый Европой декаданс.

Виктор Владимирович признается, что, исколесив Европу и Америку и устав от мертвечины и тоталитаризма глупости, «стал к русским относиться более снисходительно» [9, с. 165]. Главную разницу в заостренно-шокирующем виде у него отражает оппозиция «отстой – не отстой». Соотечественникам писатель предъявляет немало претензий и пишет о них как никто критично, и тем не менее В. Ерофеев заключает: «И все-таки мы – не отстой» [10, с. 247]. В русских, в отличие от европейцев, по его словам, «есть что-то живое» [9, с. 165], проявляющееся и в открытости общения, и в способности кнастоящим чувствам, и в поисках (подчас наивно-неуклюжих) смысла собственного и общечеловеческого существования[17]. Поэтому, когда немка в романе «Пять рек жизни» говорит автору-персонажу, что он не европеец, тот воспринимает это, скорее, как комплимент.

В. Ерофеев не предлагает каких-то спасительных рецептов. Он в большей степени предупреждает, рассеивает миражи, вглядываясь в современную Европу, провидит возможный вариант российского будущего: это обеспеченная и комфортная, но экзистенциально пустая и бесплодная жизнь под диктовку рынка. Кого-то она вполне устроит [18], а кого-то и нет. В этом, последнем, есть некоторый шанс для России. Конечно, если она сумеет «победить» самоё себя – укротить то, что ей мешает, тянет назад.

Итак, спасительных рецептов В. Ерофеев не предлагает, но он «держит планку» в требованиях к человеку (вполне исполнимых), установленную русской и мировой литературой. Кто-то же должен это делать, пока остальные «делают деньги». И вот интересный факт: в Центральной Европе у В. Ерофеева на одном из выступлений уже спрашивали: в чем смысл жизни?

Отделенные друг от друга большими временными промежутками, размышления А. Герцена, Д. Мережковского, В. Ерофеева о состоянии и судьбе Европы и так или иначе соотносящей себя с ней России имеют много общего. Все эти писатели смотрят на Европу не снизу вверх, а как равные и даже в чем-то ее опередившие, так как не идеализируют капитализм, а в рыночной демократии видят лишь наименьшее из зол, которое также нуждается в обуздании. Чего стоят все прозрения великих умов, если восторжествует на Земле «глобальный человейник» (А. Зиновьев), –а к тому пока все идет. Духовная и душевная кастрация человека, сводимого лишь к примитивному «потребителю» и «наслажденцу», и А. Герценом, и Д. Мережковским, и В. Ерофеевым признается дегуманизирующей и в качестве ориентира для России неприемлемой. Речь, конечно, не о том, чтобы отвернуться от Европы, избрать автаркию – и А. Герцен, и Д. Мережковский, и В. Ерофеев предлагают отказаться от мифа о придуманной Европе, далеко еще не рассеявшегося в сознании россиян, настраивают их оптику на реальность. Европа требует к себе дифференцированного отношения, и, заимствуя ее достижения, стоит ли присовокуплять к собственной «дури» чужую? – вот какой вопрос как бы ставят писатели перед соотечественниками. Европе же неплохо бы взглянуть на себя в «честное зерцало», отказаться от самоослепления и готовности считать мещанскую цивилизацию цивилизацией высшего типа – это было бы к ее же благу, а и А. Герцен, и Д. Мережковский, и В. Ерофеев желают ей только блага, потому и печалятся, когда видят «отстой». Уж слишком большой перекос в сторону потребления при чрезмерном умалении духовного у нее возник. Может быть, вовлеченность в более тесное соприкосновение с мусульманским миром, внедряющимся в Европу со своими представлениями (чего касается В. Ерофеев), «встряхнет» европейский континент, обострит европейский ум и чувства, и Европа тоже попытается «победить» себя: заполнить свою жизнь смыслом, поставить преграду «идиотизации», преодолеть умаление человеческого в человеке.

Полемические «письма» А. Герцена, статьи Д. Мережковского, эссе В. Ерофеева открывают широкий простор для размышлений, необходимых как России, так и Европе [20]. Пока же «жизнь идет по одной дороге, а успехи ума по другой» [21, с. 19].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Достоевский, Ф.М.* Пушкин. *Очерк. Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности* / Ф.М. Достоевский // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 10 т. – М.; Госиздат, 1958. Т. 10.
2. *Герцен, А.И.* Джон Стюарт Милль и его книга «Onliberty» / А.И. Герцен // Герцен А.И. Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1975. Т.7.
3. *Герцен, А.И*. Концы и начала / А.И. Герцен // Герцен А.И. Собр. соч.: в 8 т. – М.: Правда, 1975. Т.8.
4. *Мережковский, Д.* Грядущий Хам. Земля во рту. О новом религиозном действии (Открытое письмо Н.А. Бердяеву). Св. София. Свинья Матушка. Страшный суд над русской интеллигенцией / Д. Мережковский // Мережковский Д. «Больная Россия». – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991.
5. Еще в поэме «Смерть» (1891) Д. Мережковский высмеивал российских попугаев, без разбора заимствующих новейшую европейскую моду на галстуки и мысли.
6. *Блок, А.* Поэты / А. Блок // Блок А. Собр. соч.: в 6 т. – Л.: Худож. лит., 1980. Т.2.
7. Д. Мережковский, в сущности, предсказывает Первую мировую войну, развязанную Европой через 7 лет.

А Грядущий Хам появился в Европе в лице Гитлера (правда, Д. Мережковский его не распознал), и снова началась подготовка к мировой войне.

Таким образом, связь *религии мещанства* с милитаризмом, выявленная Д. Мережковским, подтверждена ходом истории и по-прежнему содержит в себе потенциальную опасность.

1. *Ерофеев, В.В.* Акимуды / В.В. Ерофеев. – М.: РИПОЛ классик, 2012.
2. *Ерофеев, В.В.* Пять рек жизни / В.В. Ерофеев. – М.: Подкова, 2000.
3. *Ерофеев, В.В.* Европейский смысл жизни / В.В. Ерофеев // Ерофеев В.В. Свет дьявола: география смысла жизни.– М.: АСТ; Зебра Е, 2008.
4. *Ерофеев, В.В.* Любовь к глупости. Любовь к родине: летающая тарелка специального назначения / В.В. Ерофеев // Ерофеев В.В. Бог Х.: *рассказы о любви. –* М.: Zебра Е, 2001.
5. П. Эстерхази – венгерский писатель, один из немногих авторитетных энциклопедистов современной Европы.
6. В немалой степени данные процессы осуществляются под воздействием идущей глобализации, лидером которой выступают США. Вот каково к этому отношение французского писателя М. Уэльбека, представляющего евроскептиков: «... Мы стремительно приближаемся к созданию всемирной федерации под управлением Соединенных Штатов Америки, и с английским языком в качестве государственного. Разумеется, перспектива жить под властью идиотов несколько смущает, но ведь это не в первый раз» [14, с. 40–41].
7. *Уэльбек, М.* Лансероте / М. Уэльбек. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2011.
8. *Ерофеев, В.В.* Ярко-розовое белье Средней Европы (Самоинтервью на грани исповеди) / В.В. Ерофеев // Ерофеев В.В. Мужчины. – М.: Зебра Е, 2001.
9. Не исключена и имплицитная отсылка к роману американского писателя Чака Поланика «Пигмей» (М.: АСТ, 2014), где есть восклицание «Как грустна наша Америка!», также, скорее всего, навеянное Пушкиным, ведь Поланик – из семьи эмигрантов, выходцев с Украины.
10. «Мы подражаем – но не Западу, а Иисусу Христу» [11, с. 344], – замечает писатель.
11. Так, Т. Толстая в беседе с И. Давыдовым в декабре 2013 г. сказала: «Народные чаяния – это стать мелким буржуа, потом стать средним буржуа, а потом крупным буржуа. А если повезет – сразу крупным буржуа…» [19, с. 449]. Выходит, далеко не все в России обмещанились, потому что для этого не было возможности? Правда, к сказанному писательница добавляет: «Потом, конечно, тоска, потом загул… Погром бессмысленный. <…> Это совсем не только русский человек. Какой-нибудь плебс английский, охлос – о, это страшное дело, если вы видели фотографии, как они гуляют» [19, с. 475]. И. Давыдов ответил: «… Если я правильно понял вашу мысль, эта тяга к разрушению – она тоже от вербального. От поиска смысла и ненахождения его» [19, с. 475]. Т. Толстая подтвердила: «Это как-то связано. Я не могу сказать как. Но это в одном пакете» [19, с. 476].
12. *Толстая, Т.Н.* Колдовство. Послесловие: Беседа с Иваном Давыдовым. Декабрь 2013 г. / Т.Н. Толстая // Толстая Т.Н. Легкие миры. – М.: АСТ: Ред. Е. Шубиной, 2014.
13. См. также: Петропавловский, Г. Идея антимещанства в русской мысли (Герцен – Иванов-Разумник – Мережковский) / Г. Петропавловский // Часы. 1985. № 56.
14. *Киреевский, И.В.* Девятнадцатый век / И.В. Киреевский // Европеец. Журнал И.В. Киреевского, 1832. №1 (репринт.переизд.). – М.: Наука, 1989.